

«Пониматели России: Достоевский, Бердяев, Зиновьев»*

П.Е. Фокин: Приветствую всех в стенах Государственного музея истории Российской имени В.И. Даля – в музейном центре «Московский дом Достоевского». В доме, посвященном выдающемуся художнику, писателю, мыслителю, который, безусловно, находится в сердцевине русской культуры, русской мысли и притягивает к себе разные имена. Имена из прошлого – великих предшественников, которых он читал, осваивал и впитывал в себя, и имена своих читателей, как современников, так и из новых поколений, среди которых тоже немало выдающихся фигур, немало величин.

Достоевский создает вокруг себя совершенно уникальное интеллектуальное пространство, поэтому в нашем доме постоянно проходят встречи, посвященные не только непосредственно биографии Достоевского или осмыслению его наследия, но и также дискуссии, круглые столы, связанные с влиянием Достоевского на умы. У нас много лет традиционно в день памяти Достоевского проходит круглый стол «Достоевский – цивилизация – культура», проводятся выставки, научные заседания под общей тематикой «Наследники по прямой». Можно назвать целый ряд имен. Например, в стенах нашего музея в свое время была выставка, посвященная восьмидесятилетию Валентина Григорьевича Распутина. В 2022 году мы специальной выставкой отметили столетие Александра Александровича Зиновьева и продолжаем это юбилейное действо круглым столом, дискуссией, название которой «Пониматели России: Достоевский, Бердяев, Зиновьев».

В 2021 году исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. 2022 год – это столетие Александра Александровича Зиновьева, а через два года будет отмечаться 150-летие Николая Александровича Бердяева. Таким образом, у нас получается своеобразное юбилейное созвездие: Достоевский – Бердяев – Зиновьев.

Прежде чем говорить о каких-то проблемах, я хотел бы предоставить слово Ольге Мироновне Зиновьевой – супруге и верному соратнику Александра Александровича.

О.М. Зиновьева: Я приветствую всех вас, собравшихся в этом зале. Привлекательность названия, конечно, не могла оставить равнодушными тех людей, для кого вот эта сцепка, соединение трех имен – это как пересекающееся множество: множество Достоевского, множество Зиновьева, множество Бердяева. Почему множество? Естественно, Александр Александрович – это прежде всего логика. Поэтому для меня важен символ «пересекающееся множество», он очень насыщенный, очень наполненный. И наши

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01735, <https://rscf.ru/project/23-28-01735/>; Русская христианская гуманитарная академия имени Ф.М. Достоевского.

Участники: *О.М. Зиновьева* – президент Биографического института имени А.А. Зиновьева, *П.Е. Фокин* – кандидат филологических наук, заместитель директора ГМИРЛИ имени В.И. Даля по научной работе; Русская христианская гуманитарная академия имени Ф.М. Достоевского, *Л.В. Поляков* – доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; почетный профессор Русской христианской гуманитарной академии имени Ф.М. Достоевского, *А.Ю. Ашкерев* – доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

круглые столы – это тоже множество. Я хочу сказать, что находится замечательное место, где встречаются неистовый Федор и неистовый Зиновьев, и к ним присоединяется Бердяев. Я отдала бы очень много, чтобы увидеть их при жизни вместе. Как бы они страстно выясняли, объясняли, обвиняли и тормозили всю нашу русскую действительность, всю нашу русскую историю и философию – главное, что встречаются три философа, что, безусловно, так. Не только писатели. Вернее, и писатели, и философы.

Я пытаюсь себе представить, как это было бы здорово, какие бы летели перья, как бы они кричали, может быть, друг на друга, и это бы дорогого стоило, потому что мнение людей, которым не безразлична судьба своей страны... Знаете, Пушкинская речь Достоевского – это безусловно то явление, тот текст, вернее, тот призыв, от которого содрогнулось – да? – содрогнулось от потрясения все российское общество.

Так вот, я думаю, что оказались такая возможность, чтобы они втроем написали бы какой-то манифест в защиту сегодняшней России, которая нуждается в защите, помощи, понимании, а это все в соединении и дает то самое отношение... я говорю не просто о патриотизме, а о Патриотизме с самой высокой, большой буквы.

Нет ничего дороже Родины. И дело не в березках, которые якобы растут только в нашей стране. Нет, растут они и в других странах. Но есть отношение к сущности, ко всему тому, без чего ты жить не можешь. Ко всему тому, лишившись чего в принудительном порядке, начинаешь это ощущать сильнее, страшнее и болезненнее, чем мог себе представить на значительно теоретическом уровне. Люди, теряющие Родину, отталкивающиеся от нее и считающие, что так можно. Ну, вы знаете, сменил один костюм, надел другой... Родина – понятие абсолютно космическое, абсолютно... наполненное такими смыслами, за которые мы заплатили двадцать одним годом изгнания из Советского Союза, из России, из российского общества, из российской культуры, из российской философии. Изгнание временами еще дает о себе знать.

Не хочу останавливаться на этом долго. Просто хочу сказать: я счастлива, что мы встретились в таком зале, под такой красивой короной, под короной трех мудрецов, трех писателей, трех философов. Спасибо.

П.Е. Фокин: Мы назвали этот разговор «Пониматели России». А все без исключения в нашей стране знают тютчевскую строку «умом Россию не понять», да? Так происходит с емкими фразами, с емкими формулировками, что они, входя в обиход, в процессе своего существования в языке постепенно стираются, утрачивают свою подлинность и глубину. И сегодня этой строкой – «умом Россию не понять» – пользуются как расхожим инструментом, когда сталкиваются с какой-нибудь невменяемой ситуацией. При этом зачастую довольно локальной и вполне понятной. Когда происходит какое-то недоразумение, говорят: «А, умом Россию не понять!». И этой фразой как бы отмахиваются и от России, и от понимания ее. На самом деле оказывается, что эта фраза работает против России, против ее понимания. Почему? Потому что она – да, во-первых, «пошла в народ», опошлилась и, во-вторых, потому что она оторвана от самого поэтического контекста, а поэтическая фраза не существует вне целого. А там мы помним: «Умом Россию не понять, / аршином общим не измерить, / у ней особенная статья, / в России можно только верить». Тоже все не просто в этих четырех строках. И вторая строчка, конечно, очень расширяет первое значение.

«Аршином общим не измерить». Что значит «общим не измерить»? Это значит вот тем шаблоном, теми когда-то кем-то принятыми мерками, какими-то стандартами с Россией нельзя работать. Нужен другой язык, нужны другие мерки. Нужны другие, новые понятия, чтобы измерить. Измерить ее можно и даже более – нужно.

«У ней особенная статья». И опять здесь некие уловки языка. Мы привыкли к слову «статья» в значении «какая-то особая осанка». Но в данном случае это... особенная статья.

Россия – это особая статья, как мы говорим. Именно поэтому ее нельзя и общим аршином мерить, это отдельная глава.

И вот это: «в Россию можно только верить». У нас часто получается, что говоря «только верить», мы как бы отмахиваемся от задачи и проблемы. Здесь это тоже нечто лукавое, в смысле – в нашем восприятии лукавое. Потому что мысль Тютчева именно в том, что, только веря в Россию, можно найти тот уникальный аршин, который позволит ее измерить и понять.

Достоевский, Бердяев, Зиновьев и многие отечественные мыслители все-таки эту задачу понять ставили. И Тютчев ставил эту задачу, когда писал это стихотворение. А он писал не о том, что не надо, а именно о том, что надо. И ключ указывал: это вера в Россию.

Но тут возникает вопрос: а что такое Россия? Что такое вера в Россию? Я думаю, что мы на эту тему еще поговорим и подумаем и, естественно, поговорим на тему, что думали мыслители, о которых мы будем сегодня говорить, что они поняли в России. То, что они поняли – безусловно. Если бы не поняли, то не были бы теми, кто они есть.

Я хочу попросить Леонида Владимировича, чтобы он раскрыл смысл этой связки «Достоевский – Бердяев – Зиновьев», почему она у нас возникла. А возникла она в замечательном разговоре десятого мая у могилы Александра Александровича на Новодевичьем кладбище, куда каждый год Ольга Мироновна и ее соратники приходят, чтобы отдать дань памяти Александру Александровичу.

Л.В. Поляков: Я чувствую трепет, сидя между такими людьми. Ольга Мироновна уже вошла в историю навсегда, Павел Евгеньевич – вот этим зданием и книгой об А.А. Зиновьеве. Я просто доктор философских наук, который дерзает рассуждать на тему Достоевского, Бердяева и Зиновьева. Честно говоря, мне пришла в голову эта мысль, потому что показалось, что судьбы этих трех великих русских как-то перекликаются, как-то играют, как-то связаны, притом, что при первом взгляде мало общего, скажем, между Достоевским и Зиновьевым. Достоевский – христианин, человек, который, собственно говоря, всю жизнь... ну, нет, не всю жизнь, безусловно, то есть не до своего стояния в ожидании смерти, расстрела у столба, был верующим. Он был во второй тройке, первая тройка уже стояла там, в белых рубашках, когда прибыл вестник от Николая, когда пришло прощение, помилование, да – изменение приговора о замене смертной казни ссылкой на каторгу. Только после этого какой-то переворот произошел, поэтому не всю жизнь он был человеком, который понял, принял и проповедовал Христа. Причем проповедовал настолько гениально, что, видимо, это – единственный христианский писатель. Хотя сам Достоевский, насколько я помню, считал, что это Сервантес со своим «Дон Кихотом» воплотил христианское мировоззрение. Максимально полно.

Александр Александрович, который сознательно выбрал путь, ну, не то, чтобы атеиста... атеизм – это примитивно, а выбрал путь веры в абсолют знания, в абсолют разума. Это человек, который воплощает в себе именно мощь человеческого разума, понимания, и не случайно его последняя книга – «Фактор понимания». Тютчевская тема здесь «умом Россия не понять» – Зиновьев как раз хотел понять и, мне кажется, понял. Я об этом немножко позже скажу.

Бердяев, с одной стороны, замечательный толкователь и один из лучших понимающих Достоевского. Его статьи и книги о Достоевском – это, конечно, совершенно бесценное наследие. (Еще не успел познакомиться с Музеем, но если бердяевские какие-то работы будут здесь представлены, это будет очень-очень правильно.) Это – с одной стороны. А с другой стороны, Бердяев и Зиновьев. Опять-таки Бердяев – христианский философ, Зиновьев – его невозможно назвать христианским философом, он философ по определению, по самой сути.

Но несмотря на какие-то такие отличия, я усматриваю большие сходства. Ну, например. Бердяев был выслан из страны вместе с супругой, вместе с семьей, которая у него была: сестра супруги и мать этих сестер. Они в 1922 году в сентябре, по-моему, были высланы в Германию. Кстати говоря, тоже в Германию. Тогда еще не было «Люфганзы», «Аэрофлота»... да, 1922 год. А Зиновьев родился 29 октября 1922 года. Такое вот совпадение судьбы. Это был уникальный случай именно философов. И повторил этот путь советский на тот момент и русский, безусловно, философ Зиновьев. Больше никого не высылали. Пятигорский сам уехал, был еще один случай. В Институте философии, в котором я работал.

Кстати, я нашел один интересный факт. Александр Александрович рассказывает в «Исповеди отщепенца», что его уже с дипломом выпускника философского факультета приняли на работу на должность машинистки-стенографистки. Это была единственная должность, на которую могли принять. По странной случайности Ольга Мироновна, моя однокурсница по философскому факультету, в 1968 году пристроила меня в этот же институт на должность младшего научно-технического сотрудника, в обязанности которого входило печатание на машинке. Так что видите, какая странная переключка.

Но я бы хотел продолжить эту игру переключек между Бердяевым, Зиновьевым и Достоевским. Смотрите дальше. Вот эта высылка. Бердяев и Зиновьев здесь очень похожи. Бердяев после высылки прожил еще двадцать шесть лет. Ну, вы прожили двадцать один год. Бердяев так и не вернулся в Советский Союз. Вам удалось – это отдельная история, почему именно в 1999-м, мы еще будем об этом говорить, но, похоже: двадцать с чем-то лет. Это опыт неожиданный, причем Бердяев очень переживал, он не хотел уезжать, точно так же, как Александр Александрович с Ольгой Мироновной не хотели. Их просто выдворили отсюда. Вопрос стоял так: либо на Запад, либо на Восток, либо Магадан, либо Мюнхен – выбирайте. Ну, понятен выбор. В этом очевидная переключка.

Теперь Достоевский и Зиновьев. Зиновьев, с одной стороны, точно философ. Достоевский философ ли? Ну, вообще говоря, считается, что он философ. Собственно, его романы рассматриваются как философские. И это правильно. Но, между прочим, у него действительно есть то, что называется учение «истинной философии». Знаете, я сегодня вспомнил, что в 1985 году вот в этом неприглядном сборничке, который издавали в Институте философии на ротاپринте, мне посчастливилось напечатать статью об истинной философии Достоевского. И действительно, в 1864 году в дневниках он пишет набросок своей философии – я не буду ее развивать, потому что это отдельная тема, но сюжет такой, начинается: «Маша лежит на столе. Увижусь ли я с Машей?». Речь идет о том, что это гроб умершей жены. И это событие подвигает его на размышления, на построение истинной философии, которая должна доказать бессмертие души.

То есть помимо того, что Достоевский просто как писатель философичен, он реально пытался и, в общем, сделал серьезный набросок философии. Кроме того, я обратил внимание – я очень внимательно читал его дневники и письма – в одном из писем, когда он уезжает в ссылку, вернее, в солдаты уже после ссылки, он просит, кажется, брата прислать – что бы вы думали? – «Критику чистого разума» Канта на французском языке. Представляете? Человек с каторги едет в солдатчину! Зачем ему Кант?! А это значит, что действительно не случайно. То есть философичность Достоевского я бы мог еще долго продолжать доказывать, но мне кажется, что Достоевский как философ – это реальность. И в этом смысле он, вообще говоря, наравне с Зиновьевым, потому что не важно, сколько написано философом, важно, как это написано. Важны те вопросы и те проблемы, которые он ставит и пытается решать.

С другой стороны, Александр Александрович писатель. И действительно тот человек, который открыл, так же, как Достоевский, по сути дела, новый литературный жанр. Достоев-

ский, мне кажется, ведь я не филолог, но мне кажется, что его романы идейные, идеологические романы – это для того времени был новый жанр. Реально, да? Уж не говоря о «Записках из подполья», когда обнаруживается вот это нутро человека: «Я злой человек, я больной человек». Это тоже была абсолютная новация, просто действительно прорыв. И точно также «Зияющие высоты» и последующие социологические романы, да? Это сближает Достоевского и Зиновьева напрямую, то есть каждый из них это одновременно и философ, и писатель. При той огромной разнице, что Достоевский – это человек, выбравший христианство не просто как веру, а как образ жизни, как способ мышления и как способ понимания России, между прочим. В то время как Александр Александрович выбрал, ну, я бы сказал, противоположную дорогу. Не обращаясь (вернее так: обращаясь, я прекрасно помню его «Молитву верующего безбожника» – мы, видимо, ее прочтем, чтобы напомнить), но не надеясь. Знаете, как говорится «на Бога надейся, а сам не плошай». Вот он сам не плошал. Он пытался собственным разумом достичь того самого понимания не только России, но и всего мира.

Я просто хотел, чтобы дальше передать эстафету Павлу Евгеньевичу, прочитать некое пророчество Достоевского о русских философах. Из Дневника писателя, январь 1881 года, то есть это буквально, за несколько недель до смерти. Он пишет так: «Но ни за что, опять-таки, не поверит Европа, что у нас в России могут родиться не одни только работники науки, хотя бы и очень талантливые, а и гении, руководители человечества, вроде Бэкона, Канта и Аристотеля. Этому они никогда не поверят, ибо в цивилизацию нашу не верят. А нашей грядущей идеи еще не знают. По-настоящему они правы, ибо и впрямь не будет у нас ни Бэкона, ни Ньютона, ни Аристотеля доколе мы не встанем сами на дорогу и не станем духовно самостоятельны».

Мне кажется, что это пророчество – о Зиновьеве, потому что более духовно самостоятельного человека, тем более философа, я лично не знаю. Человек, который всю жизнь воплощал в себе самостоятельность. Не случайно он говорил, что я – свое государство. Не случайно он всегда оказывался против шерсти, против течения, при всем том, что в его «Исповеди» этот человек был предельно открытый, предельно коллективистский, человек, который обожал дружеский круг, понимая прекрасно, что среди друзей полно людей, которые гадили ему напрямую. Он сочетал в себе бесконечную открытость с умением быть независимо самостоятельным. И вот это пророчество Достоевского о Зиновьеве, мне кажется, сегодня нужно понимать, чувствовать и видеть эту связь. То есть вот эта триада, на мой взгляд не случайна. Это не тройка, а именно триада, такая, если угодно, философско-литературно-человеческая триада, обозначающая преемственность, неразрывность русской духовности. В советские времена мы часто говорили о духовности, как ни странно, в атеистические времена, а сегодня понятие «духовность» куда-то пропало. Или я не прав, Павел Евгеньевич?

П.Е. Фокин: Леонид Владимирович, столько важных «зацепок» в вашем выступлении, на которые хотелось бы отреагировать. Например, про духовность. Да, как ни странно, это слово, действительно, ушло из нашего лексикона. И это действительно парадокс, что в советское время оно было чуть ли не официальным термином, встречалось в публицистике, даже, я думаю, на страницах «Правды» его можно было найти вполне, хотя немножко другой вкладывался смысл в это понятие, которое было иным изначально. Но потом произошел парадокс, потому что в 1990-х годах, когда специалисты, богословы стали говорить: а вообще-то объем этого понятия вот с этим связан, то тут же это слово куда-то вытерлось. Куда-то спряталось. Да, во всяком случае, в публичном пространстве, в публицистическом пространстве. Много сейчас мы слышим разных слов, нам каждый день говорят эти слова, разные: патриотизм – пожалуйста, это слово у нас на слуху, просвещение, справедливость. А духовность? Действительно, оно куда-то ушло. Да, этот вопрос тоже мог бы быть адресован нашим «понимателям», что бы они ответили, что бы они сказали...

Я вернусь к параллелям, к переключкам. И в первую очередь хотел бы сформулировать близость этих мыслителей. Я буду говорить за Зиновьева и Достоевского, если позволите. С Бердяевым я меньше в теме. Но даже этих двух титанов мне хватит для разговора.

Почему можно их назвать «понимателями» России, почему они нашли ключ к пониманию России? Мне кажется, все лежит в основе их человеческой природы, которую можно было бы связать с таким понятием, как органический, природный, естественный демократизм. Оба – и Достоевский, и Зиновьев – родились и воспитывались в семьях, в которых, было много детей, то есть это были большие семьи. И там понятие внимания, уважения к человеку воспитывалось органически, самим миром большой семьи. Потому что нельзя быть в большой семье и игнорировать остальных членов семьи, не учитывать их интересы, не понимать их, не изучать их. Просто в силу выстраивания отношений. Человек включается в этот мир, всматривается в людей. И этот опыт всматривания в людей у каждого из них присутствует.

Но и далее. Оба наших героя, о которых я говорил, никогда не находились в изоляции, в самоизоляции от окружающего их мира. Они всегда были в самой гуще человеческой.

Федор Михайлович из этого дома уезжает в Петербург и оказывается в военном училище – сразу погружается в большую коммунальную среду, где его ровесники из разных регионов и разного социального статуса, и материального положения: там были ученики из богатых и скромных семей, как Достоевский. И там выстраивается свой, очень своеобразный мир.

Зиновьев. Здесь, конечно, и школа московская, и Москва сама по себе, и та квартира на Большой Спасской, если можно назвать это квартирой. Не квартира, а подвал, разделенный на восемь семей, в каждой семье по три, по четыре человека живет. То есть там сорок человек на сорока квадратных метрах, ну, примерно, так. И это тоже обостряет опыт.

И дальше. Достоевский оказывается на каторге. Зиновьев – в армии, где прослужит шесть лет и тоже в разных коллективах. И все время, все время, все время идет это впитывание человека, человеческих свойств, качеств. Наполнение. Это важнейшее качество Достоевского и Зиновьева – именно открытость, внимание, интерес, не всегда любовь, но во многих случаях, и всегда – интерес к людям. Они не замкнутые в себе мыслители, не сидящие где-то в башне из слоновой кости, не теоретики отвлеченных истин, они – практики. Они практики мысли, потому что каждый человек, которого они встречают, это для них и предмет понимания, и партнер по диалогу, тот, кто помогает в разговоре, в речи выявить какой-то новый аспект какого-то понятия, о котором идет разговор. И этот встречный всегда для них еще и инструмент самопознания. То есть через другого они познают сами себя. Такой очень сложный механизм, который в итоге и формирует ту основу их мыслительной деятельности, позволяющую им проникать в суть того явления, о котором мы говорим, – России.

Вот я спросил: что такое Россия? Россия для них – это не абстракция, это не институция, не политический строй только. И не только народ. Это конкретные живые люди в их взаимоотношениях, их отношениях друг к другу.

А.Ю. Ашкерov: Я думаю, что в какой-то степени меня вел Достоевский, поэтому я опоздал: когда нас ведут великие, это всегда трудный путь, что называется извилистый и, может быть, связанный с каким-то особым гироскопическим, как это называют на языке западной философии, пространством. Это какой-то лабиринт, когда неизвестно куда выныриваете, но зато приключение будет интенсивным и оно будет, так что не бойтесь доверять великим в том, чтобы они вас куда-то вели. Может быть, вы куда-то опоздаете, но вы на самом деле придете вовремя, именно тогда, когда нужно было прийти.

Что касается основной темы нашего разговора, то, конечно, очень много сейчас рассуждений о России, и мне, честно говоря, не очень хочется в этот хор вливаться, потому что я боюсь выболтать что-то очень важное. А иногда нужно не выбалтывать, иногда нужно молчать, может быть, ограничивать себя в словах, быть скупым на слова. И тем не менее что нельзя не сказать. Ведь каждый из троих героев нашей дискуссии говорил именно тогда, когда должно говорить. Не просто говорили, не просто произносили слова. Они говорили, когда само говорение выражало вот этот модус долженствования. И мы этот модус должны сегодня понять и говорить только о том, о чем говорить должно.

О чем же должно говорить? Должно говорить о том, что когда, например, речь идет о Достоевском, мы сталкиваемся с очень интересным примером. Очень интересным примером того, как все то, что лежит в основе западной этики, вдруг получает совершенно иной разворот. И, может быть, даже все то, что служит системой координат западной этики, оно западную систему координат меняет или отказывается от нее. То есть Достоевский попросту предлагает нам новую этику. И эта этика неудобна, она неудобна вообще, как любая философская мысль. Для меня Достоевский – может быть, кого-то это покоробит, может быть, кому-то покажется неожиданным, – но Достоевский – это прежде всего философ с потрясающими интуициями и одновременно автор с задатками очень хорошего коммерческого писателя. Потому что находить сюжеты из бульварной хроники, криминальной хроники – это его ноу-хау, и потом, собственно, за этим последовала вся коммерческая литература, чего не надо стесняться. Потому что все возникает на основе неожиданных сочетаний, и вот такое неожиданное сочетание философской интуиции и коммерческой сметки сделало Достоевского Достоевским.

Что же он привносит в расклады этики? Этика западного мира, точнее, та этика, которая сделала Запад Западом, была похищена у греков, а греки исходили из принципа «золотой середины», сформулированного Аристотелем. В свою очередь Аристотель заимствует отчасти этот принцип у Платона. Это Аристотелево прочтение идеи Софросины, которая есть у Платона. Софросина – это благоразумие, умеренность и взвешенное поведение. Аристотель сводит это к очень простому, к тому, что нельзя выбирать ни одну из крайностей. Англичане в своей поговорке известной формулируют это по-другому, но явно с отсылкой на Аристотеля: «нельзя из двух зол выбирать ни одного». То есть нужно отказаться от двух зол, нужно отказаться от двух крайностей, потому что обе крайности суть зло. И вот это золотое правило, связанное с тем, чтобы не делать другому то, что не хотел бы получить себе, тоже связано с принципом золотой середины, то есть избегания крайностей.

Что у Достоевского? Например, вспомним его рассказ «Кроткая». Это поздний рассказ и очень важный вообще для понимания России, потому что когда его читаешь, невольно думаешь о том, а пишет ли Достоевский о конкретном персонаже, о конкретной женщине? Или, вообще говоря, в образе этой женщины мы видим Россию, или по крайней мере он думает о России, когда пишет об этом.

Фабула очень простая: некая женщина из бедных вынуждена выйти замуж за ростовщика, такой мужской эквивалент старухи-процентщицы из «Преступления и наказания». Мотивация этого выбора до конца непонятна, потому что сразу ясно, что перед нами некое бытовое чудовище. Оно узнаваемо, оно очень хорошо знакомо и не стоит самопожертвования, тем более что эта женщина не ставила каких-то великих целей, она не ставит целью спасение души, например, этого ростовщика. И он не стоит никакой жертвы, не стоит ничего, потому что из любой жертвы выводит стоимость, он стяжатель. И стяжательство – его профессия. Любая жертва им монетизируется. Поэтому все, что направлено на жертву ему, будет монетизировано. Это ловушка. Неизвестно, понимает это или нет Кроткая, может, кротость в том и состоит, чтобы это не понимать, но она делает свой выбор.



Что касается самого ростовщика, то с ним тоже все не до конца ясно: почему он берет ее в жены. С одной стороны, мотивация связана с тем, чтобы помочь бедной. С другой стороны, мотивация есть и противоположная. Мотивация в том, чтобы издеваться над этой бедностью, унижать ее. Причем унижать систематически, не походя, как при случайной встрече унижают, а систематически, потому что брачные отношения предполагают этот систематизм.

И в этом весь Достоевский. Он в том, чтобы не избегать крайностей, а эти крайности соединять. Он в том, чтобы не искать «золотую середину», а исключать ее возможность. Обе крайности принимаются, обе интерпретации, которые каждая по-своему плоха, они принимаются. Кроткая потрафляет ростовщику, потому что своей жертвенностью расширяет поле его монетизации. Но и сам ростовщик, делая некое условно добро, превращает это добро в способ насилия, причем насилия, возведенного в систему. И вот это насилие, возведенное в систему, конечно, можно увидеть – проявление этого насилия – тоже не только в каких-то персонажах, в каких-то фигурах. Можно увидеть в государстве на отдельных этапах его становления, можно увидеть в неких супостатах, неких внутренних и внешних врагах, но намного важнее понять, что есть некая пара, которую образуют ростовщик и Кроткая. И эта пара – некое целое, это один субъект.

И когда мы говорим о России, нужно не ограничиваться тем, что Россия это только Короткая, которая такая страстотерпица неизвестно чего ради. Россия, конечно, имеет и полюс этого ростовщика. И вот этого ростовщика, может быть, в еще большей степени, нежели раба, по совету другого классика, нужно из себя выдавливать, и, может быть, настоящая рефлексия России – она и есть попытка выдавить из себя вот этого ростовщика.

Кстати говоря, в этом рассказе Достоевского, фигуры полуанонимные. И эта полуанонимность, сведение биографических атрибутов, по сути, к статистическим, анкетным данным, очень напоминает те ходы, которые делает Александр Александрович Зиновьев в «Зияющих высотах». Там действуют люди, неотличимые от своих социальных ролей. У них нет ничего, кроме социальных масок. Имена этих социальных масок соответствуют именам людей, поэтому в каком-то смысле это пересечение тоже лабиринтообразное, тоже в каком-то смысле можно считать, что рассказ Достоевского «Кроткая» – это пролог к «Зияющим высотам». Или же «Зияющие высоты» – это продолжение рассказа «Кроткая».

Что же касается сложного пути понимания России, то он неотделим от пути самой мысли. Ведь мысль – это предельно неудобный объект. Объект, который трудно удержать и от которого трудно отвязаться. Этот объект ранит, этот объект колет, этот объект режет, он все время досажает, этот объект под названием «мысль». Но если мы выдержим все, что связано с этим объектом, если перестанем сопротивляться его присутствию в нас самих – это даст нам очень многое. И как мне кажется, довольно распространенные и частые разговоры о том, что Россия имеет особый путь, о том что Россия – это Россия, разговоры, переходящие в тавтологии, вот эти разговоры тогда перестанут быть тавтологией, когда мы не будем стесняться того, что мысль ранит, не будем отделяться от этого, не будем спешно лечить эти раны.

Вот эти раны, эти ссадины, эти синяки, которые мы получаем, взаимодействуя с мыслью, и есть настоящий путь России. Поэтому в числе тех, кого мы сегодня обсуждаем, безусловно, нужно упомянуть и Бердяева. Его фраза о том, что душа России содержит нечто в себе нечто бабье, – это же попытка выразить одной фразой суть рассказа «Кроткая», поэтому пересечения здесь самые прямые, самые буквальные.

Вечно бабье в душе России – это та самая кротость, которую очень легко направить во зло, которая очень легко себя во зло направляет. Да? Вот это тоже нужно иметь в виду. Но чтобы это понять, чтобы совладать с пониманием этого, нужно совладать с самой мыслью. Поэтому обращаться к России значит обращаться к самой мысли, несмотря на то, что

она травмирует, несмотря на то, что ее присутствие – всегда травма, несмотря на то, что присутствие мысли в жизни не оставляет никаких надежд на бытовой комфорт.

Л.В. Поляков: Андрей Юрьевич, я бы хотел подхватить вашу тему, связанную с противоречием. У Александра Александровича есть произведение под названием «Желтый дом», и это книга, в которой многие еще узнают себя и, в общем, как-то обижаются. По-человечески это на самом деле можно понять. Кстати говоря, у Достоевского Федора Михайловича есть произведение, кажется, называется «Крокодил», там он изобразил современника, довольно знаменитого, который тоже имел повод обижаться. Я говорю о Николае Гавриловиче Чернышевском. Поэтому я бы хотел вот что сделать сейчас: у Александра Александровича есть целый цикл поэзии. Зиновьев как поэт – это вообще отдельная тема, отдельная история – ну, в общем, не буду развивать эту тему, но, думаю, этим стоит заняться. И вы знаете, мне однажды пришло в голову срифмовать вот этот сюжет, связанный с противоречивостью Зиновьева и с тем, что он противоречив. Я, конечно, извиняюсь, я совсем не поэт, но что-то такое складываю периодически, вот я написал такие строчки. Ольга Мироновна однажды одобрила это, поэтому я позволю себе это прочитать. Все это так звучит:

Все те, кто на него в обиде,
Вы знайте, что таков он был,
Любил он то, что ненавидел,
Что ненавидел, то любил.
Его судить его же мерой,
Не всем доступен суд такой!
Своей неверующей верой
Не свет он заслужил – покой.

Здесь, понятно, переключка с Булгаковым. Но дело вот в чем. То, что говорил Андрей Юрьевич о Бердяеве и русской душе, требует дополнения. Ведь Бердяев, помимо того, что критиковал Розанова (но критиковал – неверное слово), когда он полемизировал с Розановым, когда вступал в мощный философский диалог тоже с великим мыслителем, философом Розановым о вечно бабьем в русской душе, он ведь имел в виду еще и нечто другое – то, что в русской душе постоянно живут противоречия. Помните, «Душа России» – этот очерк о том, что русский одновременно и государственный, потому что русские создали самое мощное в мире, самое огромное государство, самое сильное, в то же время они – бегуны, то есть люди, которые все время убегают от этого. С одной стороны, какая-то сверхъестественная вера, вера фанатичная, доводящая до самосожжения на примере Аввакума и его последователей, а с другой стороны, самый предельный материализм и атеизм. В русской душе живут такие несовместимости, противоречия, которые, казалось бы, невозможно сочетать в одном человеке и в одном народе.

И то же самое, как я пытался выразить рифмами, в самом Александре Александровиче присутствует, ведь можно найти много вещей, много утверждений в его работах. Ну, скажем, автохарактеристика себя как советского человека или как он хомо советикус сокращал до гомосос. Он пишет в одной из своих книг, что я есть гомосос, поэтому я его и ненавижу, и одновременно люблю. Такая ненавидящая любовь или любящая ненависть – это, по-моему, прямая переключка, это не плагиат, не заимствование. Это тема та же самая, которую развивал Николай Александрович Бердяев до конца своей жизни, предлагая понимать Россию как клубок противоречий, как вот эти самые кантовские антиномии.

Есть такая книга насчет Достоевского и Канта как раз – я тоже свой диплом на философском факультете посвятил именно этому. Попытался с помощью антиномий Канта немножко понять Достоевского.

Между Зиновьевым и Бердяевым очень важное сходство в том, что оба обратились к неожиданному, очень сложному и, я бы сказал, такому смелому и мужественному шагу,

как биография в виде исповеди определенной. У Бердяева это «Самопознание». А у Зиновьева – «Русская судьба. Исповедь отщепенца». Согласитесь, что не многие из нас сядут и начнут описывать честно и открыто, по последнему счету личную жизнь. Я думаю, это действительно внутренний подвиг. Мне недавно удалось прочесть отзыв одного человека – не буду называть фамилию, скажу так: сына одного из ближайших друзей Александра Александровича. Этот сын в своей заметке про Зиновьевский клуб и про Александра Александровича написал, что Зиновьев был позер. Почему я это вспоминаю. Действительно, когда человек решается на то, чтобы рассказать о себе все до конца и честно, это может восприниматься как некая поза. Но что значит «поза»? Это значит выйти из ряда и встать на всеобщее обозрение, не боясь показать себя. И это, знаете, не потому что нечего стесняться, не потому что это некая позиция «вот я такой». А потому что это опыт, который учит, точно так же как когда читаешь Бердяева.

Казалось бы, биография уникального отдельного человека – мыслителя, философа, пережившего очень многое. Кстати, и Зиновьев, и Бердяев оба побывали на Лубянке, Бердяев чаще – его несколько раз арестовывали, Александру Александровичу повезло – его только один раз арестовали, и он избежал я не знаю, чего, если бы не сумел уйти. Но сама идея описания себя лично меня глубоко пронзает, когда я читаю такие вещи, как «Самопознание» и «Исповедь отщепенца». Невольно начинаешь понимать, что в жизни каждого человека, а тем более человека, который представляет собой мощное мыслительное усилие, направленное на понимание целой страны, целой цивилизации, целого народа России, можно найти события, в которых лежит «ключ» к разгадке того, что Бердяев называл душой России.

И я глубоко убежден, что всякий народ, а тем более народ русский, я имею право говорить «тем более», потому что я русский, всякий народ порождает неких людей, личностей, в которых можно усмотреть самую глубинную суть. Вот не общий аршин, действительно, а то, что можно прочесть в коллективном портрете целого народа. И я думаю, что те персонажи, которых мы с вами пытаемся понять как понимающих России, каждый из них выражает по-своему особенность русскости.

Достоевский, который населяет пространство своих романов, я бы сказал, чудовищами: подпольный человек, Раскольников, Свидригайлов, Кириллов, Карамазов-старший – это какие-то действительно подземные монстры, уж не говоря о «бесах». И в этом правда. То есть почему до сих пор Достоевский жив? Почему мы здесь сегодня сидим и почему говорим о Достоевском? Потому что он сказал о русском, о русских абсолютную правду. Потому что и сегодня среди нас есть все это. И те же «бесы», и все остальное. Но кроме этого есть и Мышкины, есть и Дмитрий Карамазов, и Алексей Карамазов. То есть я имею в виду, что эта полнота, вмещение в себя, в одного человека полноты образов народа – это удивительное свойство, которое присуще только таким гениям, о которых мы сегодня говорим.

И то же самое Александр Александрович. Вот Андрей Юрьевич уже говорил о его гениальной, абсолютной пионерской прорывной книге «Зияющие высоты». Она действительно населена этими масками-функциями. То есть понимаете, в чем дело. В принципе, с одной стороны, то, что описал Зиновьев в «Зияющих высотах», – это такой, казалось бы, узкий, условно говоря, интеллектуально-богемный круг Москвы. Вроде бы. В семидесятых годах, а на самом деле там коллективная Россия: думающая, мыслящая, страдающая. Что говорить – периодически подличающая, приспособливающаяся к жизни в условиях, когда невозможно открыто что-то говорить. И вот эта способность людей выражать в своем творчестве коллективную душу, если угодно, связывает всех троих, на мой взгляд. И сегодня поэтому я бы сказал, что каждый из них абсолютно актуален, при том, что Достоевский уже вошел в духовную плоть нации навсегда.

Это зафиксировано. Кстати говоря, именно этим Домом-музеем, в том числе и питерским, и квартирой, конечно, безусловно. Бердяев относительно вошел, потому что его Дом-музей в Клараре, пригороде Парижа. Мне повезло, мы в 2015 году смогли туда приехать, я побывал в этом месте, в той комнате, в которой Бердяев работал за столом. Но есть музей. А вот что предстоит еще сделать – это создать то пространство, в котором Александр Александрович был бы воплощен вот так же, как здесь. Хотелось бы.

Поэтому я думаю, что чем чаще, чем настойчивее мы будем заниматься нашими великими выразителями самой сути русскости в мысли, в личной биографии, тем надежнее будет наше будущее. Мы уже говорили о том, что термин «духовность», слово «духовность» куда-то пропало, а ведь на самом деле Достоевский о духовности – это прямое воплощение понятия «духовность». И для Бердяева характерен поиск, его несокрушимая вера в то, что материальный мир лишь некая, как он говорил, объективация – не более. Что есть дух и именно дух есть настоящая реальность. И мы потому только существуем, что есть эта духовность. И на самом деле Зиновьев – повторюсь – при том, что он как бы формально, как бы внешне отрицал все, что связано с религиозностью, на самом деле в себе воплощает новую инкарнацию, особую инкарнацию духовности. Не только потому, что он написал гениальную «Молитву верующего безбожника», но вообще всем своим творчеством он просто доказывает, что дух существует. Потому что все, что он написал, – это и есть настоящая духовность. Это воплощенное творчество, то, что открыто каждому из нас. То, чем мы можем питаться, и что не убавляется. Вот, собственно говоря, я на этом закончу...

П.Е. Фокин: Мне понравилась предложенная Андреем Юрьевичем интерпретация рассказа «Кроткая». Я с такой не сталкивался, и она вполне убедительна. Может быть, она заострена философически, но в ней действительно есть эта истинность понимания России как сложного явления, в котором, как Достоевский, немножко по другому поводу, но скажет достаточно четко: «противоречия вместе живут». Он говорит не о России, а о красоте, но эта формула вполне может быть здесь использована. Она достаточно точно описывает этот феномен России.

Насчет противоречий. Насколько я помню, поводом для статьи Бердяева о вечно бабьем в русской душе послужило эпатажное поведение Василия Васильевича Розанова, который одновременно печатался в двух изданиях: у Суворина в «Новом времени», выступая с консервативных позиций, и, сейчас не помню вторую газету, где он выступал совершенно с противоположных и радикальных, чуть ли не кадетских, по-моему, позиций. Под псевдонимом Варварин. Под другим именем. Потом это вскрывается, обнаруживается, что это один и тот же автор, который в течение одной недели пишет и публикует абсолютно противоположные вещи. Но ведь то же самое делает, вспомним, Ставрогин, который одновременно Шатова уверял в богочеловечестве, а Кириллова тут же развращал в полном атеизме. И привел обоих к крайностям. В одно и то же время. Ему Кириллов говорит: вы же в то же самое время мне говорили это, а Шатову совершенно другое! Вы верили оба раза? И Ставрогин отвечает: да, и там, и там я говорил правду.

Кстати, что такое художественное творчество для писателя Достоевского и Зиновьева в том числе? Это именно возможность заявить противоположные мысли, которые одновременно рождаются у них – не у героев. Мы же не наивные люди и понимаем, что нет этих абстракций, которые носят имена «князь Мышкин» или «Парфен Рогожин». Они оба – это Достоевский. Так же как у Зиновьева. Это все – Зиновьев. И как человеку примирить эти мысли, которые его посещают?

Вот Андрей Юрьевич говорил о болезненности мысли, о том, что она ранит. Но она пришла, она в тебе сидит. В какой-то ситуации, может, не политкорректно ее высказать по разным обстоятельствам, но деться-то от нее нельзя. И отвернуться невозможно. И тогда возникает феномен художественности.

Кстати, об искренности, об исповедальности. Достоевский тоже предпринимает такую попытку. Он не пишет автобиографических текстов, но он начинает издавать «Дневник писателя», который замысливает в некотором роде тоже как исповедь. Он в объявлении о журнале пишет, что «это будет дневник в буквальном смысле слова», в котором он будет делиться впечатлениями, которые его поразят и вызовут интерес. Но уже через несколько месяцев в одном из писем признается, что понял: писать дневник в некоторых случаях практически невозможно. И приходится какие-то темы оставлять или находить какие-то подставные фигуры вроде Парадоксалиста.

Кстати, именно в рамках «Дневника писателя» появляются и «Кроткая», и «Сон смешного человека». Не случайно они там появляются. Не потому, что Достоевский издает журнал и это его территория – написал и публикует. А именно потому, что они вырастают из «Дневника писателя», и это те его мысли, которые он не может проговорить открыто, публицистически.

Приведу небольшую цитату из «Дневника» 1876 года: «Кстати насчет войны и военных слухов, у меня есть один знакомый – Парадоксалист, я его давно знаю. Это человек – совершенно никому не известный и характер странный, но – мечтатель». (Мечтателем Достоевский себя называет в самых-самых первых опытах, когда он в 1840-х годах писал статьи в периодику. Он тогда еще никому не известен. И вот он там мечтатель. Потом мечтателем станет его альтер эго в «Белых ночах».) «О нем я непременно поговорю подробнее, но теперь мне припомнилось, как однажды, впрочем, уже несколько лет тому назад, он раз заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и может быть, единственно из игры в парадоксы. Замечу, что он штатский и самый мирный и незлобивый человек, какой только может быть на свете и у нас в Петербурге». А дальше только одну реплику прочитаю: «Дикая мысль, – говорит он, между прочим, – что война есть бич для человечества. Напротив – самая полезная вещь». И так далее.

И в данном случае не о войне речь, а именно об этой вот парадоксальности, которая живет в каждом мыслящем человеке. В «Братьях Карамазовых» есть другая формула: «широк человек». И герой говорит: «я бы сузил». Широта включает в себя эти полюса. Не случайно эту фразу очень часто произносят неправильно. Ее дополняют и говорят: «широк русский человек». У Достоевского «широк человек», но вот это дополнение, которое невольно русские читатели добавляют, оно неспроста тоже возникает, потому что, конечно, Достоевский, говоря о широте человека, в первую очередь, думает о русском человеке. И именно изучение и знакомство с русским человеком во всей этой полноте – от каторги, этого ада, «Мертвого дома», до высот Мышкина, она специфически русская.

Безусловно. Мы знаем массу примеров. Зачем далеко ходить. Я приведу одну фразу, которая меня в свое время поразила в выступлении коллеги на международном конгрессе в Будапеште в 2007 году. Выступал уважаемый профессор, ныне уже покойный, который в течение двух сроков возглавлял Международное общество Достоевского. То есть он как бы представлял Достоевского в международном сообществе. И он сказал (это было на пленарном заседании, во время открытия форума): «Я не понимаю наших русских коллег, почему они все время с такой остротой, с такой страстью говорят о Достоевском как о современном писателе. Почему они его все время притягивают в современность? Почему столько страсти? Для меня Достоевский – это писатель мировой и русской литературы. Он мне интересен как часть истории литературы». Это было поразительно. Я не знаю, как мои коллеги услышали иотреагировали, но меня это пронзило насквозь. Потому что в этом как раз и заключается отличие нас, нашей ментальности, нашего взгляда от западного.

Там есть «обрусевшие» иностранцы, которые читали Достоевского, читали Бердяева, читали Зиновьева, наконец. И вышли из этой западной культуры, и стали русскими в этом смысле. Но в целом, в массе, это не характерно для западного человека. В этом,

наверное, есть свои преимущества, в том, что они сосредоточены на каких-то конкретных задачах, каких-то целях, не расплываются, идут устремленно, достигают вершин. Это не негативная черта, это их свойство. А свойство русского человека – вот эта широта.

И у Зиновьева есть в интервью, которое он дал сразу по возвращении в Россию в 1999 году на пресс-конференции в Доме журналистов – это было первое его большое публичное выступление, буквально через несколько дней, где он высказал в общем-то все основные свои позиции. У него в это время очень скептическое отношение к возможностям России воспрянуть, подняться, после десяти лет разрухи, после ментальной в первую очередь разрухи. И он говорит: «Но сколько людей есть в сегодняшней России думающих, мыслящих, сколько талантов! У русского человека столько достоинств! Но у него есть один недостаток, который перечеркивает все эти достоинства. Этот недостаток – неумение воспользоваться своими достоинствами, своими преимуществами. Столько преимуществ, и неумение ими воспользоваться».

Я вот думаю: неумение или нежелание? Притом нежелание не из лени, а из коренного христианского смирения. Мне кажется, что в этом опять же не недостаток, вот это – особенность русского человека быть всем братом. Он не равный. Он – больше. Не случайно есть публицистическая метафора России, русского народа – «старший брат». Это тоже не на пустом месте возникло. Потому что он действительно сильный, у него на самом деле много преимуществ, действительно много достоинств. И вот это желание быть равным, это смирение – это тоже достоинство, которым русский человек упорно, вопреки здравому смыслу, идущему с Запада, вопреки этому здравому смыслу следует. И, может быть, благодаря этому и выстаивает. Потому что если бы – опять дальше экстраполируя – если бы русский человек всеми своими преимуществами, всеми своими достоинствами, всеми своими силами воспользовался, от мира бы ничего не осталось. Скажу я так парадоксально.

Знаете, не то чтобы в подтверждение, а как бы параллельно, я тут вспомнил, у Достоевского что-то в этом роде. У него есть статья «Нечто о политических вопросах». И вот смотрите, что он пишет. «Я убежден, что самая страшная беда сразила бы Россию, если бы мы победили, например, в Крымской кампании. И вообще, одержали бы верх над союзниками. Увидав, что мы так сильны, все в Европе восстали бы на нас тотчас же с фантастической ненавистью. Они подписали бы, конечно, неудобный для себя мир, если бы были побеждены. Но никогда никакой мир не мог бы состояться на самом деле. Они тотчас же стали бы готовиться к новой войне, имеющей целью уже истребление России. И главное – за них стоял бы весь свет. Шестьдесят третий год [имеется в виду подавление Польского восстания – П.Ф.] не обошелся бы нам тогда одним обменом едких дипломатических нот, напротив, осуществился бы всеобщий крестовый поход на Россию. Мало того, этим крестовым походом некоторые европейские правительства непременно поправили бы тогда свои внутренние дела. Так что он во всех отношениях был бы им выгоден. Революционные партии и все их недовольные правительством во Франции, например, немедленно примкнули бы к правительству в виду «священной цели» – изгнания России из Европы. И война явилась бы народной. Но нас тогда сберегла судьба, доставив перевес союзникам. А вместе с тем, сохранив всю нашу военную честь и даже еще возвеличив ее, так что поражение еще можно было перенести. Словом, поражение мы перенесли, но бремя победы над Европой ни за что бы не перенесли, несмотря на всю нашу живучесть и силу. Нас точно так же спасла судьба в начале столетия, когда мы свергли из Европы иго Наполеона Первого. А спасла именно тем, что дала нам в союзники Пруссию и Австрию. Если бы тогда одни победили, то Европа чуть только бы оправилась после Наполеона Первого, то тотчас и без Наполеона бросилась бы опять на нас. Но, слава Богу, случилось иначе. Пруссия и Австрия, которых мы же освободили, немедленно приписали себе всю

честь победы, а впоследствии, теперь, то есть, уже прямо утверждают, что тогда победили они одни, а Россия только мешала».

Удивительно это все, да. Поэтому в известной степени это и предупреждение, и предостережение, и понимание Достоевским России и крестной судьбы ее. И как тут быть? Как нам остаться сильными, кроткими?

А.Ю. Ашкеров: Вот как раз по поводу, как быть, мое дополнение, моя версия, что называется. Ну, поскольку Александр Александрович логик, мы должны выслушивать его подсказки логика, да? А из наших рассуждений может сложиться впечатление, что есть только два варианта: либо Россия должна жертвовать собой, причем жертвовать нескончаемо, и в этом якобы ее историческая роль. Либо же Россия должна что-то такое сделать с миром, после чего мир никогда уже не будет прежним, то есть сделать что-то явно апокалиптическое, чего, как следует из приведенной цитаты, опасается и сам Достоевский. Вот эта апокалиптическая миссия России, которая в своем выражении, кстати говоря, резонирует с интуицией Чаадаева относительно России, должна принести миру некий урок. Да, вот этот урок, необязательно военный, необязательно силовой, но какой-то урок, который мир перевернет.

И, казалось бы, есть только две альтернативы. Но нет. Есть и третья. Хотя есть наверняка и четвертая, но я скажу о третьей. Когда я рассуждал о рассказе «Кроткая» и проводил параллели между Россией и героиней, я не ограничился этим. Это был только зачин. Речь шла о том, что второй герой, он не меньше Россия. И они образуют одно целое. Так вот третий путь – это как раз путь ростовщический, путь стяжательский. И, кстати говоря, он не обязательно является западным, потому что скорее сам Запад хочет монополизировать ростовщичество. Сам Запад хочет присвоит себе право присваивать. Но раз он хочет себе присвоить это право присваивать, это значит, что это право ему не принадлежит полностью, какие бы усилия в этом направлении ни предпринимали интеллектуалы Запада, начиная с Вебера с его протестантской этикой, да? Потому что основной посыл протестантской этики Вебера, основной месседж, как сейчас говорят, в том, что именно Запад изобретает присвоение и отождествляет себя с этим изобретением, следовательно, только у Запада есть право на присвоение. Но нет, не только. И вот мы в течение тридцати лет, я имею в виду нынешняя, современная Россия – она как раз проходит третий путь, путь ростовщичества, который Достоевский замечательно исследовал.

Вообще говоря, ростовщик – это один из его главных героев, некий сквозной персонаж. И каждый раз, когда он описывает этого сквозного персонажа, он, по сути дела, пророчествует о той самой России, которая у нас с конца 1980-х формируется. И становление которой, в том числе хождение, что называется, в детских ходунках мы с вами наблюдаем. В этом становлении есть много отвратительного, много уродливого, много ужасного, но нельзя отрицать, что это как раз третий путь. Третий путь между самопожертвованием, в каком-то смысле, отсылаясь к Пушкину, бессмысленному и беспощадному, так сказать, самопожертвование бессмысленное и беспощадное, и некий апокалиптический урок, который тоже не менее бессмысленный и не менее беспощадный. Правда, и ростовщичество по-русски тоже может быть таковым, тоже может быть и апокалиптическим, и жертвенным. То есть тот самый третий путь может вбирать черты двух других путей. И предъявлять какую-то версию ростовщичества, доселе неизвестную.

А что такое «доселе неизвестная версия ростовщичества»? Это доселе неизвестная версия капитализма. Уж если русские взялись играть в капитализм, то это будет какой-то совершенно другой капитализм. Тот капитализм, который миру еще и не снился и не снился самым, казалось бы, заядлым и профессиональным буржуа.

Что же касается исповедальности – несколько слов надо сказать и о ней. Ну, конечно, Бердяев и Зиновьев, при всем почтении к ним, не они этот жанр изобрели, но дань

этому жанру совершенно не случайна, потому что это дань совершенно особой формации истины. Эта формация может быть названа христианской или средневековой. Все, что может быть истинным в рамках этой формации, добывается через исповедь. Исповедь – это некое саморазоблачение сознания. И любые практики науки, связанные с разоблачением, а потом и политические практики, восходят к этому саморазоблачению сознания и вообще саморазоблачению субъекта. Ты не добудешь истину, если не играешь в это саморазоблачение, если не ставишь себя под вопрос, если не подвешиваешь себя, как на крюке, этим вопросом, как на дыбе.

Суть этого саморазоблачения через исповедь состоит в том, чтобы обнаружить в себе некий образ Божий, некое подобие Божие в себе. Но для того чтобы это осуществить, нужно признать греховность своей натуры, признать, что твоя натура обезображена грехом. И получается: чем больше ты хочешь приблизиться к образу и подобию Божию, которое в тебе есть, тем больше ты от этого образа и подобия Божия отдаляешься, потому что сама исповедь заставляет тебя признавать в себе грех.

Эти стратегии мысли никуда не делись. Они сохраняются и сегодня, не обязательно в теоретических книжках, не обязательно в книжках мудрецов, в книжках философов. Когда мы присутствуем на приеме у врача и рассказываем о симптомах, мы тоже исповедуемся, когда рассказываем о происшествии, свидетелями которого мы были, мы тоже исповедуемся. Исповедь никуда не делась в этом смысле. Но исповедь не так проста. Она не столько приближает нас к Богу, сколько отдаляет, потому что исповедующийся все время обнаруживает в себе грех. Все время обнаруживает в себе то, что некую изначально божественную природу обезобразило. И в современности это тоже проступает, причем проступает очень отчетливо. Если вас спрашивают о болезни, все, что вы о себе рассказываете, в итоге будет признанием вашей болезни. Если вас спрашивают о преступлении, все, что вы будете рассказывать, будет рассмотрено как признание в этом преступлении. Любое слово становится уликой.

Характеристика этой исповедальной истины как раз в том, что любое слово превращается в улику. Это значит, что с этим словом нужно обращаться очень осторожно. Я говорил в предыдущем спиче о том, что мысль очень неудобный объект. От него невозможно избавиться, но и удержать его трудно. А вот истина, причем не только в таком христианском изводе, в любом изводе – это опаснейший объект, опаснейший инструмент, который опасен прежде всего для того, кто этот инструмент применяет.

В чем опасность этого инструмента? Не в том, что возникает масса подделок под истину, которые очень трудно отличить, какова бы эта истина ни была, к какому бы изводу она ни относилась, опять-таки не обязательно к христианскому. Важно другое. Важно то, что истина оставляет некую печать на явлении, некую печать на объекте. Она предписывает объекту быть таким, а не другим. Она, эта самая истина, в каком-то смысле останавливает становление. Эта остановка становления работает иногда как проклятие. Поэтому бойтесь мудрецов, бойтесь философов, это я вам говорю как философ. Когда они чрезмерно точны, они проклинаят то, что они описывают. И эти проклятия очень трудно смыть, поэтому Достоевский, Бердяев, Зиновьев – они в той же степени правы, в какой и снабдили нас своими проклятиями. Но чтобы эти проклятия обратить в плюс, нужно уметь расшифровывать в них благословение.

В любом проклятии есть элемент благословения. А также в любом рассуждении есть элемент ошибки. В том числе у самого большого мудреца этот элемент ошибки присутствует. И право на ошибку нужно сохранять. Это право на ошибку обеспечивает нас возможностью становления, обеспечивает возможностью того, что что-то, припечатанное словом, изменится как раз вопреки этой припечатанности. Снимет с себя эту печать. Или таким образом трансформируется, что эта печать не будет тем самым проклятием, о кото-

ром я говорю. Поэтому оставляйте всегда и за собой право на ошибку – это право позволяет жить. И за самыми большими мудрецами, даже в том случае, если эти самые большие мудрецы за собой право на ошибку не оставляли.

А что касается этого права на ошибку – не буду голословным. Вот следующий – небольшой, очень короткий спич будет про то, что у многих вообще проходит по части ошибочного знания, знания, легко фальсифицируемого или насквозь фальсифицируемого. Когда я готовился к этому нашему собранию высокому, когда я думал о том, что бы могли сказать наши замечательные покойные визави, я очень боялся, что наш разговор будет немножечко таким вот разговором архивариусов. Которые любят и умеют перелистывать пожелтевшие страницы, сдувать с них пыль, что мы немножко поделемся своими умонастроениями архивариусов, не заботясь о том, насколько они вам интересны.

И я предложил по-другому развернуть этот разговор, я предложил бы подумать, а что бы сказали Достоевский, Бердяев и Зиновьев о трех вещах. Первая вещь – это ковид, всем хорошо известный. Вторая вещь – это сегодняшнее положение в мире, включая то, что называется спецоперацией, то есть сегодняшнее состояние войны и мира, скажем так. Ну, и третья вещь – может, самая интригующая – это будущее. И знаете, вот пришел своего рода ответ. Причем ответ совсем не из книг – я не буду, в отличие от коллег, ничего цитировать. Ответ пришел во сне. Не только у Менделеева есть привилегии получать ответы во сне. Она у тех, кто запрашивает, тоже появляется. Так что вы тоже попробуйте что-то запросить.

Пришел ответ от двоих. От Достоевского и от Бердяева, причем ответ очень телеграфный, очень точечный, я специально это говорю с некоторой крупинкой соли, потому что мы вступили на не очень твердую, скользкую почву фальсифицируемого знания, но оно оставляет как раз право на ошибку, потому что доказать нельзя. И в ответ на вопрос о ковиде (именно про ковид был ответ со стороны Достоевского и со стороны Бердяева), значит, Достоевский сказал что-то типа «всемирная Божедомка возникла», ну, мы все знаем, что это такое, сейчас это называется Первая градская, да? Прообраз массовой больницы, для того чтобы в ней лечились все, независимо от сословной принадлежности, прежде всего представители низших слоев – вот это всемирная Божедомка. А Бердяев тоже отделался одним словом, которое у меня тоже одной строкой вбило буквально. Он сказал «игро». «Новое игро». Ну, при том, что это из Китая пришло, новое заболевание – да? – а были времена, когда китайские правители, точнее нет, Китаем правили те, кто был наследником Золотой Орды, – тут параллели достаточно забавны, так что какое-то новое игро. Это я вам специально рассказал, для того чтобы немного сменить жанр нашей дискуссии, чтобы мы не старались показаться самим себе настолько учеными, чтобы отвергнуть право на ошибку, а это право и есть то, что оставляет нам шанс на становление, шанс на то, чтобы быть другими. Спасибо вам.

П.Е. Фокин: Я про исповедь, которая, важная на самом деле история, и про ошибки. Потому что ведь Достоевский к исповеди публичной, опубликованной относился с большой настороженностью. И уже в «Идиоте» исповедь Ипполита Терентьева, которую тот читает, дискредитирована тем, что в конце ее – а он ведь читает ее как предсмертную, чтобы сразу после нее застрелиться. Он взводит курок и театрально – восходит солнце, утро – начинает стрелять, а пистолет не срабатывает, осечка. И все смеются над ним. А исповедь пронзительна, когда ее читаешь, она за душу берет, просто прошибает, но Достоевский делает так, что в конце она осмеяна. И далее в «Бесах» повторяется то же самое, только еще более жестко. Исповедь Ставрогина, которую тот приносит Тихону, и она уже отпечатана на бумаге для распространения. И Тихон, прочитав, говорит, что «некрасивость убьет». «Вы задумали исповедь как свой публичный позор, для того чтобы себя

показать, чтобы как бы выставиться. И это убивает вашу искренность, это убивает вашу исповедальность». Вот это неискреннее позерство.

А дальше, что происходит, смотрите. Катков, который читает исповедь Ставрогина, отказывается ее печатать. И у нас этот жест Каткова объясняется тем, что его моральные взгляды не позволили ему на страницах своего журнала опубликовать текст, где рассказывается о растлении маленькой девочки, ее самоубийстве и так далее. Что это было для него невозможно, противоречило его мировоззрению. Достоевский вынужден был ее исключить по требованию редактора, потому что он был зависим. Но! Что дальше происходит? Достоевский издает отдельный роман уже не на страницах Каткова, а самостоятельным изданием. И он не включает туда исповедь Ставрогина. И у нас это опять объясняют так, что это было связано со сложностью набора типографского, надо было доделывать, переделывать и т.д. Нет! Достоевский увидел в этом решении Каткова реализацию того, что сам же уже и сформулировал через Тихона, что это нельзя публиковать. Это убьет... И он принимает это ответственное решение. Поэтому, конечно, исповедь исповеди рознь.

Когда мы говорим о «Самопознании» Бердяева, когда говорим об «Исповеди отщепенца» Зиновьева, мы должны помнить, что это не исповеди на самом деле. Они, да, предельно открыты, исповедальны, но это тексты художественно-философские. И, кстати, у Бердяева художественность тоже присутствует в немалой степени. Но и философичность. Это не просто рассказ о своей биографии, кого встретил и как что переживал. Нет. Это самопознание, это инструмент выявления сущности опять же человека вообще. «Найти человека в человеке», – говорил Достоевский. Вот Бердяев в себе ищет человека – того, который задуман был.

И точно так же Зиновьев. Поверьте мне как биографу Александра Александровича, который проработал в архивах не один месяц, собирая документы и так далее, сверяя их, проявляя. «Исповедь отщепенца» – это автобиографический роман со всеми вытекающими обстоятельствами. У него есть подзаголовок «Русская судьба». Зиновьев пишет не просто о себе. Во-первых, книга писалась не для русского читателя, книга писалась по заказу французского издателя, для французов, она вышла на французском языке. Зиновьев рассказывал французам, Западу о русской судьбе в двадцатом веке, и да, его собственный опыт был очень типичен, типологичен, но иногда для полноты картины важна была некая обработка этих фактов определенным образом. Иначе, если бы это было просто исповедью, то мы бы имели исповедь Ставрогина, которую нельзя публиковать.

Л.В. Поляков: Трудно судить со стороны, но мне лично кажется, что наша тройка как-то сумела доказать, ну, по крайней мере не бесполезность такого сравнения: Достоевский, Бердяев и Зиновьев. Я уверен, что можно продолжать и найти еще много сходств, много различий, о которых надо говорить, потому что они скорее сближают, чем разделяют этих трех великих русских. Можно было вспомнить, например, что и Достоевский по крайней мере был врагом социализма, да? И вот это эссе, это как раз воплощение ненависти, между прочим, к увлечению молодости, потому что он начинал все-таки в кружке Буташевича-Петрашевского, это был социалистический кружок. Но помните опять же, что в Дневнике писателя, по-моему, «Сон смешного человека». Если этот рассказ сегодня прочитать: история о том, как произошло совращение идеального общества. Если провести параллель с тем, что Александр Александрович писал о гибели русского коммунизма, в общем, где-то можно найти серьезные аналогии и интерпретировать так же, как Андрей Юрьевич интерпретировал «Кроткую» в качестве некоего пролога к «Зияющим высотам». И обратно. Я хочу сказать, что все три этих наших мыслителя в конечном счете занимались той проблемой, которая сегодня абсолютно актуальна. И я хочу сказать о том, что Зиновьев как критик коммунизма абсолютно уникален. На мой взгляд, это один из самых высоких результатов и самый мощный вклад, я бы сказал, в мировую социологическую

мысль, потому что никто лучше Зиновьева не объяснил феномен коммунизма. А книга «Коммунизм как реальность» – это просто (я хотел сказать «бестселлер», но это совершенно дикий термин, причем здесь бестселлер), это просто всем нам ключ к пониманию того, в чем мы жили семьдесят лет. И это ключ к пониманию для всего человечества. Потому что то, как объяснил Зиновьев коммунизм, повторюсь, не сделал никто. Но именно то, что и Достоевский писал вот это о «золотом веке человечества» и о неизбежной гибели его. Бердяев в конечном счете стал – вернее, не в конечном счете был, а всегда писал об этом в том самом «Самопознании», только он называл это «комьюнитаризм», не коммунизм, а комьюнитаризм, то есть общество духовное, общество тех, кто духом превзошел вот эту реальность и в духе живет в братстве и взаимопомощи.

И в конечном счете Александр Александрович тоже написал эту книгу о коммунизме. Но при этом после того, как коммунизм погиб, он высказал, мне кажется, очень важную мысль, я бы сказал так: завещание-вызов. В том смысле, что русская история – хотя это и в романной форме, это персонажи, которые там присутствуют, об этом говорят, ну, скажем, в «Русском эксперименте» или в «Русской трагедии», – расставшись с коммунизмом, русские навсегда вычеркнули себя из истории. И это, с точки зрения Зиновьева-логика, та самая истина, которая оставляет печать, которая ранит. Это не потому, что хотелось со злобой это сказать, это потому что говорится с болью. Тот самый коммунизм, который, я вот, собственно говоря, эту картинку показал – двух крыс, душащих друг друга, и все это называется «дружба», а именно об этом коммуналность Зиновьева. Тот самый коммунизм, с которым мы расстались, на самом деле был единственной возможностью для нас, русских, в истории остаться и продолжать существовать.

Но мы тридцать лет существуем без коммунизма, и вот Андрей Юрьевич говорил о «третьем пути», хотя есть еще и четвертый, нехоженный путь «русского ростовщичества», то есть русского капитализма, который еще неизвестно, каким боком обернется. Но я хотел бы, знаете, напоследок сказать то, что обещал по поводу Зиновьева-атеиста, по поводу Зиновьева, который вроде бы не приемлет христианство... Честно говоря, ничего лучшего, ничего более сильного в отношении Бога я не читал. Это стихи Зиновьева, послушайте, пожалуйста.

«Установлено циклотронами
В лаборатории и в кабинетах,
Хромосомами и электронами,
Мир заполнен, тебя в нем – нету.
Коли нет, так нет, ну и что же.
Пережиток, поповская муть.
Только я умоляю, Боже,
Для меня ты немножечко будь.
Будь пусть немощным, не всеильным,
Не всеведущим, не всеблагим,
Не провидцем, не любвеобильным,
Толстокожим, на ухо тугим.
Мне-то, Господи, надо немного,
В пустяке таком не обидь,
Будь всевидящим, ради Бога,
Умоляю, пожалуйста, видь.
Просто видь, видь – да и только,
Видь всегда, видь во все глаза,
Видь, каких на свете и сколько
Дел свершается «против» и «за»,
Пусть будет дел у тебя всего-то
Видь текущее, больше ни-ни,

Одна пусть будет твоя забота:
Видь, что делаю я, что – они.
Я готов пойти на уступку:
Трудно все видеть, видь что-нибудь,
Хотя бы сотую долю поступка,
Хотя бы для этого, Господи, будь.
Жить без видящих – нету мочи,
Потому надрывая грудь,
Я кричу, я воплю: Отче,
Не молю, а требую – будь!
Я шепчу,
Я хриплю:
Будь же,
Отче!!
Умоляю,
Не требую:
Будь!!!».

Я не знаю, какой верующий мог бы об этом написать, а вот неверующий написал. Таков Зиновьев, и в этом смысле христиане Достоевский и Бердяев, я думаю, если бы они это прочитали, то склонились бы перед Зиновьевым. Перед его не просто интеллектуальной мощью, но и перед его способностью к такой вере. Спасибо вам.

